

В лето, как быть тому, в районном центре Первомайское ломали старую церковь.

Новое время рождало новые нужды, а они, в свою очередь, требовали свернуть колокольню, которая окончательно прохудилась от времени и непогоды. Зимой в щели попадал снег, летом и осенью — дождь; влага накапливалась, дерево гнило, стены и потолок отмокали и начинали плакать. Слышался в непогоду ровный шорох — тяжёлые капли летели вниз без перерыва. Ширпотреб, продукты, мебель, скобяной и иной товар — в церкви находился райповский склад — спешно накрывали кусками брезента, разодранными картонными ящиками, но защита получалась ненадёжной, и тогда приходилось составлять акты на списание окаменевших муки и сахара, тазов, покрытых ржавчиной, и расквашенной в тесто вермишели.

В нынешнюю весну, когда стаял снег, акт на списание оказался таким внушительным, что райповское начальство решило навести порядок: колокольню свалить, сделать нормальную, на два ската, крышу и настелить шифер, чтобы никакая влага не просочилась.

За дело взялась бригада шабашников. Сколотил её на скорую руку проворный мужик Шептун. Был он не из местных, приезжий, кормился разовыми заработками, которых ему вполне хватало на жизнь. Много ли надо бобылю,

обитающему в маленькой избёнке, где нет ни жены, ни детей... Странную свою фамилию Шептун не оправдывал: говорил громко, резко и коротко, даже когда беседовал с начальством:

— Сделаем, как в аптеке на весах сделаем! С деньгами не обманете? — И щурил желтоватые кошачьи глаза, потирая ладонью правую щёку, сплошь иссечённую мелкими белесыми шрамами. — Только, это, товар надо вывезти, народ у меня сборный, всякий... А казённые супы я уже хлебал, сытый.

За два дня товары вывезли; часть распихали по магазинам, подсобкам, а часть сложили для временного хранения в кочегарке и в гараже.

В опустелой церкви стало пусто и гулко. Через открытые двери сквозил ветер, но застоялый запах селёдки, краски и керосина даже не шевельнулся от его дуновений — прочно висел, плотно. Валялись на полу куски брезента, разорванные картонные коробки, старые мешки, изъеденные мышами, разбитые деревянные ящики с торчащими наружу гвоздями. Всё это под ногами шуршало, шаркало, стучало и шевелилось, словно живое. Сверху, через окна, забитые досками, просачивался косой свет июньского солнца, рассекал полумрак широкими лентами. В них густо дымилась пыль.

С правой стены, возле которой свалили мужики инструмент, скорбно и строго смотрел лик Спасителя. Деревянные иконы из церкви давным-давно исчезли, а эту, почему-то врезанную прямо в стену, добыть никак не могли. Пробовали и ломом, и топором, но все усилия пропадали напрасно — щепки отлетали, а лик проступал по-прежнему. Только взгляд очей становился суровой. Он и сейчас просёк мужиков насквозь. Те замешкались, смолкли. Даже Шептун, бывалый и тёртый калач, передёрнул плечами.

— У меня справка есть! Чистая, без подмесу! Весь срок оттянул, до звонка! — Колька Гурьянов тормознул напротив стены, крутнулся на каблуках кирзовых сапог и раздёрнул на груди рубаху, показывая синеву татуировки: островерхие горы и над ними солнце с лучами. — И не надо на меня так зырить, как в ментовке! Равноправный гражданин страны Советов, колоть не за что!

Мужики, слушая Кольку, хохотнули, но с затаённой опаской. Было им всё-таки не по себе, неудобно, как в одежке с чужого плеча. Косились на Шептуна, ждали — что скажет? А тот помалкивал, стоял, сунув руки в карманы, и оглядывал, поднимая голову, внутренность церкви. Цокал языком и пристукивал носком сапога в пол.

В широкий проём дверей, обитых изнутри и снаружи полосами железа, заглядывали ребятишки, первыми прибежавшие к церкви. Толкались локтями, шумно сопели, перешёптывались, о чём-то спорили.

Шептун обернулся, увидел их и пугнул:

— А ну, мелочь пузатая, брысь! Чтоб я вас не видел! Брысь, кому сказал!

И ногой, для острастки, топнул. Ребятишки горохом ссыпались с крыльца. Шептун ещё свистнул им вслед и скомандовал мужикам:

— Чего рты разинули?! Наверх давай, работать! Арбайтен, арбайтен, орднунг должен быть!

Мужики, торопясь и подталкивая друг друга, разобрали инструмент, полезли на колокольню. Но там снова замешкались, увидев с верхотуры знакомую округу. Она расстилалась при ярком свете июньского дня на километры и, казалось, звенела: основной бор плавно спускался к Оби, искрившейся, как огромное зеркало, за крайними домами лежал луг с двумя озёрами-блюдцами, а ещё дальше, за лугом, брызгали зеленою берёзовые колки, раскиданные по полям, уходившим

к окоёму. Там, внизу, всё было понятным, близким, а вот предстоящая работа... Что ни говори, а всё-таки держался, не отпускал неясный страх. Оглядывались, шурились на солнце и медлили.

— Эх, мать моя женщина! Дай рублишко заработать! — Колька первым скинул с себя оцепенение, поставил под ноги новую «Дружбу», канистру с бензином и похлопал ладонью по бревну, которое высохло до чистого звона и железной крепкости. — Налетай, мужики, Христос не выдаст, свинья не съест!

Колокольня была срублена в восьмерик, то есть в восемь углов, звонница, покрытая досками, покоилась на толстых стояках. План у Шептуна был простой: ободрать доски, в колокольне пропиливать дыры, в дыры эти завести тросы, а внизу поставить трактора и лебёдки. Рвануть посильнее — и всё деревянное барахло свалится на землю.

— Посторонись! — дурашливо и громко закричал Колька. — Раздайся, грязь, г.. плывёт!

Дёрнул тросик стартера, бензопила рыкнула, заведясь с первого раза, и завизжала. Колька вздёрнул её рывком, подступился к стене колокольни, и на тёмном дереве обозначился широкий порез. Брызнули янтарно-жёлтые опилки. Круто завоняло бензиновым чадом. Мужики, словно очнувшись, разом схватились за работу. К визгу бензопилы добавились скрип кованых гвоздей, выдираемых из дерева, ухающие шлепки досок, сброшенных на землю, и частый, торопливый перестук топоров.

Скоро на колокольне появилась первая дыра, затем вторая, и они стали зиять, как пустые глазницы. Церковь хрустела, расставаясь со своей плотью, и превращалась в жутковатое, уродливое сооружение, неизвестно зачем попавшее на приветливый и зелёный взгорок.

Следом за ребяташками приползли на шум и гром старухи. Прошаркали по земле резиновыми калошами и остановились в отдалении, испуганно сбившись в тёмную стайку. Крестились, охали, когда очередная доска или выпиленное бревно падали на землю, переговаривались, и голоса их, лишённые прежней молодой силы, шуршали, как сухая бумага.

— Помешала она иродам, колокольня... Стояла, христовенькая, глаз радовала, а теперь и глянуть некуда будет.

— Помощников-то набрал, пердун чёртов, одних тюремщиков, добрый человек разве сподобится.

— Господи милосливый, меня венчали в ей, с Гришей моим, на Николу Зимнего венчали.

— Какая теперь жизнь восшествует, помыслить страшно.

— Руки, руки бы у их поотсохли!

Но слов этих ни Шептун, ни мужики не слышали, да и старух не видели — некогда было по сторонам глазеть.

К вечеру на звоннице остались только стропила, а колокольня светилась пропиленными дырами, и ярко желтели бока распиленных брёвен.

Широкий разрез заката, распластанный на половину неба, съёжился и погас. Долго густились сумерки, и лишь к полуночи на старую церковь опустилась темнота, скрыла дыры, раскиданные груды досок и одиноко торчавшие стояки. Медленно, напрягая силы, церковь стала приходить в себя. Разодранная, распиленная, она продолжала жить. Дух её, растекаясь по самым дальним углам и пазам, чутко

поднимался по уцелевшим брёвнам наверх и собирал, сращивал всё, что ещё не разрушили, в единое целое. Тишина бережно снимала визги бензопилы, стук топоров и матерные голоса. Церковь снова начинала ощущать свои стены, макушку звонницы, но более всего — твёрдую землю под нижними венцами.

Оттуда, от земли, из самой её глубины, прибывала сила, устремлялась ввысь, копилась в самой крайней точке звонницы и поднималась в небо. От земли — через церковь — в небо, словно кровь в жилах. Омытая ею, церковь становилась крепче, и уже не так остро ныли её пропиленные раны.

По загвазданному, замусоренному полу извилистой змейкой прополз шорох. Церковь дрогнула, и ярче, строже загорелся на правой стороне лик Спасителя. В тот же миг на звоннице, где раньше был крест, вспыхнуло в темноте светлое пятно. Это был белый голубь. Белый от клюва до кончика хвоста. Поджав крылья, он упирался розовыми лапками в расщеплённое дерево и тихо ворковал. Бархатные звуки плавно спускались вниз. Если от земли шла сила, то от голубиного воркования в церковь вливалась живая жизнь. И пока она сохранялась в стенах, они крепились, стояли прочно, сопротивляясь до последней возможности, чтобы не рассыпаться в прах.

Ещё раз змейкой прошуршал шорох. Голубь отозвался бархатным воркованием. Церковь бережно подняла скользящий шорох с пола, пустила его по стенам, и он, разделившись на восемь частей, поднялся наверх и сомкнулся под розовыми лапками голубя.

Стены очистились. Всё, что налипло на них за нынешний день, соскользнуло и растворилось. Церковь снова ощутила себя чистой, благостно стало, спокойно и на миг забылось о том, что с ней сотворили в минувший день.

Вдруг она различила на земле почти неслышные, неуверенные шаги, и потревожилась, обнаружив у самого крыльца русого мальчика. Он был бос, на ногах густо гнездились цыпки, а кудрявые волосы на его голове казались светлым облачком. Мальчик замешкался, постоял в раздумье и поднялся с земли на нижнюю ступеньку крыльца. Замер перед громадой церкви и опустил тонкие руки; долго, с затаённой тревогой, смотрел в темень настёж распахнутых дверей. Церковь знала, чей это мальчик, знала его коротенькую судьбу, а ещё — предвидела его судьбу будущую и поэтому позвала внутрь. Он с готовностью отозвался. Поправил шаровары, сшитые из чёрного сатина и украшенные пёстрыми заплатками, одёрнул синюю застиранную рубашку и стал одолевая одну ступеньку за другой, осторожно ставя ноги на тёплые ещё доски. Прошёл в глубину церкви, снова остановился, разглядывая лик Спасителя, который явственно проступал из сплошной темноты.

«Я нечаянно пришёл. Проснулся и пришёл. Меня никто не видел».

«Хорошо, что пришёл, ты не мог не прийти. Я тебя позвала. Ты подрастёшь, многое забудется, но настанет час — и ты всё вспомнишь. Всё... И только тебе откроется тайна, о которой сегодня никто из людей не знает. Я тебя благословляю на жизнь и на терпение в ней. Слушай...»

«Не понимаю я таких слов, я не знаю, зачем пришёл...»

«Придёт время — поймёшь. А теперь — слушай...»

Забылись, ушли собственные страдания, осталась лишь тревога о будущей судьбе мальчика, до конца не ясной, подёрнутой зыбкой дымкой, как степная дорога у горизонта.

«Слушай...»

Мальчик снова поднял кудрявую голову, и церковь увидела, как блеснули у него в глазах будущие слёзы. Она накрыла его живым дыханием, оберегая хотя

бы на время, напрягла память стен, и в них зазвучало тихо-тихо: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его нанавидящи Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень...»

Белый голубь выструнился, быстро-быстро ударил белыми крыльями. Неведомый голос зазвучал сильнее, громче, церковь вложила в него последние силы, какие оставались после тяжёлого дня, и добилась, чего ей желалось больше иных желаний — ударил колокольный звон и пошёл над землёй плавными, тугими волнами. Мальчик прижал к груди руку и ощутил под ладонью горячее жжение — будто огонь вспыхнул. Было тепло, радостно, как ещё никогда не было в его маленькой жизни.

«Мне светло здесь, я здесь останусь...»

«Ты здесь не останешься. Ты пойдёшь в жизнь. Скоро наступит рассвет, ты проснёшься, и эта ночь уйдёт у тебя из памяти, но вернётся... Ступай с Богом, иди и не оглядывайся...»

Мальчик послушно направился к выходу, спустился с крыльца на землю и пошёл, не разбирая дороги, вороша босыми ногами сыпучую пыль.

Вослед ему пели колокола, как не пели они в лучшие свои времена.

— Баушке моей скажи! — Колька сплюнул сквозь зубы и вытер губы затёрханным рукавом пиджака. — Из тебя прорицатель, как из меня партийный секретарь!

— Да честное слово! Своими ушами... И трезвый был, ни в одном глазу! Вышел на двор покурить и слышу — звенит... — Афоня Бородкин, тихий и всегда как бы растерянный мужик, хлопал выгоревшими ресницами и клялся, что слышал вьяве и без обмана колокольный звон, мужики ему не верили, а он стоял на своём: — И вызванивало вот так вот — дин-ди-дон, дин-ди-дон...

— В зад тебе пистон! — ловко вставил Колька и, довольный, расхохотался. — Кончай, Афоня, лапшу вешать — вкалывать надо! Бугор, давай приказание.

Шептун потёр щёку, дольше обычного задержав ладонь, быстрым скольльзящим шагом окинул церковь и скомандовал:

— Хватай лом, Афоня, и наверх, чтобы в ушах не звенело. Трактора подойдут, будем троса заводить. Шустрой, ударники, арбайтен!

— А я, это, боюсь, мужики... Шептун, боюсь я... — Афоня дёргал острым плечом и пятился назад. — Я, пожалуй, откажусь, мне и доли не надо...

— У тебя её и нет! — и без того тонкие бескровные губы Шептуна вытянулись, как лезвия. Лицо заострилось, глаза заузизились до махоньких щёлок. Он умел подчинять людей. Такой костоломной силой дохнуло на Афонию, что тот сразу свял. Молчком потрусил к крыльцу церкви.

За ним потянулись и остальные мужики.

— Вот так. Так оно лучше. Орднунг! — сказал Шептун, глядя им в спину, и потёр щёку ладонью.

След в след за шабашниками, как и вчера, появились ребятишки, а за ними — старухи. Мелюзга, опасливо озираясь, кинулась разглядывать церковь и сброшенные доски, а старухи приступом подступили к Шептуну:

— Грех на тебе будет! Слышал седни, как она звенела, сердешная!

— Ты чего же с ума-то слазишь!

— Да им сатана владеет, сатана им водит!

— Он чо понимает, нелюдь! Костылём, костылём его по хребтине шщёлкнуть!

— Бог накажет так накажет — слезами заревёшь!

Старухи горячились, шумели, подступали ближе. Шептун шурил желтоватые кошачьи глаза, смотрел на старух и не уступал им ни сантиметра. Вдруг качнулся с носков на пятки, оскалился, словно собирался кусаться, и засвистел, громко и точно передавая мелодию: «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война...» Старухи от его свиста опешили, чуть отступились, и Шептун, круто повернувшись, пошёл прочь. «Перешницы старые, вешалки худые! — шёл и сплёвывал себе под ноги. — Церковь они жалеют, над старым гнильём плачут! А кто людей пожалеет?! Вот меня кто жалел?! Наказанием пугать вздумали! Да я давным-давно отбоился! Бога, чёрта, дьявола — всех!»

Действительно, бояться Шептун уже давно никого не боялся. Да и чем можно напугать человека, который повоевал на войне, побывал в немецком плену, а в доверок, для ровного счёта, отведаль ещё лагерей в окрестностях далёкой северной Воркуты. Душа его выгорела до доньшка, остались лишь пепел да сажа, а на них плодоносит только злоба.

На ходу он поднял голову, увидел всё ещё стоявшую колокольню и сцепил зубы: «Свернуть, свернуть к чёртовой матери!» Поднялся наверх и матерно заорал на мужиков, что шевелятся они слишком медленно.

К обеду два трактора притащили на больших деревянных санях лебёдки, которые быстро сгрузили на землю, установили и принялись заводить на колокольню тросы.

— На макушку, на макушку ещё один! — командовал Шептун, и голос у него срывался от нетерпения. — Колька! Давай наверх!

Колька натянул металлические когти, с какими лазят на телеграфные столбы, и полез по стояку на самый верх звонницы. Добрался, вытащил из-за пояса выдергу, собираясь оторвать пару досок и завести трос. Но держать выдергу одной рукой было неудобно, тогда он поднялся чуть выше, спружинил ногами, чтобы когти глубже вошли в дерево, примерился к крайней доске и вдруг почувал, что на него кто-то смотрит. В упор. Вскинул глаза. На потрескавшемся, почти чёрном основании, где раньше был крест, сидел белый голубь. Смотрел, не смаргивая, и глаза его были человеческими. Взгляд их насквозь, навывлет, просекал Кольку, его прошлую и нынешнюю жизнь, и уходил дальше, угадывая и будущую. Ноги у Кольки задрожали, правый коготь зашевелился, вылезая из дерева. Он уронил выдергу и намертво вцепился в стояк.

— Бере-ги-и-и-сь! — заорали мужики, увидев выдергу, которая кувыркалась в воздухе. К счастью, она никого не задела. С грохотом упала на доски, вздыбила пыль.

Мужики кричали, материли Кольку, но тот не слышал. Руки будто вросли в дерево, и он боялся пошевелиться. Но всё-таки пересилил себя, вытянул шею и посмотрел вверх. Взгляд у голубя был прежним — человеческим. Так смотрят, когда хотят навсегда запомнить. Колька лихорадочно дёрнул ногой, вытащил заострённый носок когтя из дерева и пополз вниз, обдирая живот и руки.

— Придурок! Чокнулся?! Выдергой по башке, а?! — тонко, по-бабьи голосил Афоня.

У Кольки чакали зубы, заикаясь, он едва выговорил:

— Голова закружилась... Чуть не брякнулся... Вниз сведите, ноги не идут...

Его подхватили под руки, свели вниз. В переулке положили под крапиву, где была тень.

— Может, приглядеть? — обеспокоился Афоня.

Антон Бахарев пожевал губы и кратко буркнул:

— Обыгаться.

Когда мужики отошли, Колька вскинул голову и глянул на звонницу. Голубя там уже не было. По стояку карабкался вверх сам Шептун. Добрался, оторвал доски, на верёвке подтянул трос, закрепил его и быстро спустился вниз — будто век по верхотуре лазил. «Вот, чёрт, ничего не боится!» — позавидовал Колька, неуверенно поднимаясь на ноги, которые всё ещё подрагивали в коленях. Прошёлёс туда-сюда, отдышался, и страх понемногу стал его отпускать. Колька подумал «Может, привиделась вся эта ерунда? Точняк, привиделась!» Ободрился, искренне желая поверить, что так и есть. С кем не бывает? Утром с похмелья не жрал как следует, а тут жара, да ещё на высоте... Встряхнулся молодым петушком, и ему стало совсем легко.

Он уже направился к церкви, но тут появился в переулке — как из-под земли вылутился! — Федя Пешеход. Пересёк дорогу и звонким, вздрагивающим голоском пропел:

— Коля, Коля, Николаша, я приду, а ты встречай! Дилинь, дилинь! А?

— Иди ты! — отмахнулся Колька. — Не до тебя...

Но Федя не уходил, заступая ему дорогу. Быстро, по-птичьи перебирал ногами, обутыми в старые ботинки без шнурков, и ворошил пыль. Большие ослепительно голубые глаза ярко блестели, будто изнутри их подсвечивали лампочки.

Федю Пешехода в Первомайском знали все — от мала до велика. Он не имел ни угла, ни дома, всю жизнь бродяжил, ночуя, где придётся: возле порога в домах у сердобольных хозяев, в банях, в хлевах вместе с коровами, в кочегарках, а летом и вовсе под любым кустом или забором. Все свои пожитки Федя носил на себе: ботинки без шнурков, брезентовые штаны, подпоясанные солдатским ремнём, дырчатый свитер и затёрханный пиджачишко, увешанный сверху донизу разнокалиберными значками. Федя с одинаковой радостью цеплял октябрятскую звёздочку, «Отличник Советской Армии», «Ударник коммунистического труда», «Народный дружинник»... — чем награждали его шутники, то он прикалывал и привинчивал. Была у него даже медаль «Мать-героиня». А ещё Федя носил на спине тощий мешок, в котором лежала зимняя амуниция: чёрные подшитые валенки, фуфайка и шапка. Но главным богатством была балалайка. С шёлковым бантом, теперь уже непонятно какого цвета, залепленная в иных местах синей изолентой, она висела на тонкой витой верёвочке, перекинутой через плечо, и всегда была под рукой. В любой момент Федя мог подхватить её и ударить по струнам. Играл он так истово, что балалайка начинала петь человеческим голосом, а сам он плакал.

Сейчас Федя суетился перед Колькой, заступая ему дорогу, и не пускал к церкви. Дёргал головой, размахивал руками, наклонялся то в одну, то в другую сторону — весь разом двигался, словно был на шарнирах.

— С коня упал? — изумлённо вытаращился на него Колька. — Чего мельтесишь?

— Не ходи туда, не надо туда ходить! — заторопился Федя, не уставая перебирать ногами. Он всегда ими перебирал, даже во сне, за что и прозвали его Пешеходом. — Там худо, ой, худо, а станет ещё хуже!

— Да ладно! — Колька осерчал и сдвинул его в сторону. — Не каркай! Хуже не будет!

Федя проводил его долгим тоскливым взглядом, встрепенулся и быстрым прискакивающим шагом заторопился из переулка на площадь перед церковью. Там

прибился к старухам и стал взмахивать обеими руками, словно подавал знак шабашникам, чтобы они бросали работу.

А работа у них шла наперекосяк, через пень колоду: одна лебёдка оказалась неисправной, ДТ-54 заглох и не заводился, вдобавок потеряли, пока шарашились с Колькой, стартер от бензопилы и теперь никак не могли найти его между досок. Шептун метался то на колокольню, то вниз, материл мужиков и, в конце концов, не выдержав, отодвинул в сторону тракториста, завёл ДТ-54 и сам полез в кабину. Его кошачьи глаза поблескивали и светились, словно он смотрел ими из тёмного угла.

Оба трактора взревели, медленно поползли, оставляя за собой рубчатые следы от гусениц. Тросы натянулись и прочеркнули собой чёрные линии, которые разом соединили тракторы и колокольню. Ещё одна такая линия соскользнула сверху к исправной лебёдке. Мужики спустились вниз, отошли на безопасное расстояние.

Давай! Наяривай!

Тросы натянулись и задрожали. Старухи ахнули, а старое дерево церкви отозвалось треском. Тракторы заревели сильнее, буровили землю гусеницами на одном месте.

Колокольня стояла.

Федя выскользнул из кучки плачущих старух, пересёк площадь и оказался на том самом месте, куда должны были обрушиться доски и брёвна. Передёрнул балалайку на грудь и заиграл. Правая рука неуловимо порхала над инструментом, и три струны, соединив свои звуки в один, запричитали голосом плакальщицы, как по покойнику.

Звенели тросы, орали моторы, вверху трещали потревоженные брёвна, а внизу бились в проворных фединых руках струны, и голос их был самым слышным посреди остального шума. Федя плакал. Из крепко прижмуренных глаз выдавливались мелкие слёзы, без остатка терялись в морщинах и в жиденькой бороде.

Шабашники опамятавались, заорали, чтобы он убежал. Но Федя их не слышал, а Шептун из кабины не видел его и продолжал на яростных оборотах выжимать из мотора последние силы — гусеницы уже выгребли две больших ямы.

Федя играл.

Кинулся через площадь сломя голову Афоня. Добежал до трактора, закричал, замахал руками, подавая знаки Шептуну, чтобы тот заглушил мотор. Но мотор заглох сам. Трактор чуть сдал назад, трос обмяк и провис. Колокольня на этот раз устояла. Шептун выскочил из кабины, увидел Федю возле церкви и бросился к нему. Федя его не испугался, но играть перестал и балалайку задвинул за спину. Стоял на прежнем месте, молчал и даже не шевелился. Но когда Шептун протянул руку, чтобы схватить его за шкурку и дать выволочку, неожиданно выкрикнул плачущим, срывающимся голосом:

— Рога! Рога выросли! Худо будет, у него рога выросли!

Шептун схватился за голову — никаких рогов не было. А Федя не умолкал:

— Рога! Рога растут!

— Недоумок! В тюрягу бы из-за тебя упекли! — Шептун замахнулся, но ударить не посмел. Выругался и опустил руку.

Колокольню в тот день свалить так и не удалось, а ночью снова заговорили давно снятые колокола.

Рано утром появился возле церкви инструктор райкома партии Ветров. Он только что получил от первого секретаря строжайший наказ: слухи о колокольном

звоне немедленно пресечь, а саму колокольню сегодня же свернуть. И всё это — под личную ответственность. Она у Ветрова была, хотя поработал он в райкоме всего лишь три месяца. А до этого, придя из армии, где дослужился от рядового до старшины, год просидел на районном ДОСААФе, и военной закваски растерять не успел: раз приказ отдан, надо его — кровь из носу! — выполнять.

На площади было ещё пусто, и Ветров первым делом провёл рекогносцировку на местности: оглядел тракторы, лебёдки, тросы, прикинул на глазок траекторию падающей колокольни и пришёл к выводу, что брёвна или доски могут долететь до тракторов. А это уже техника безопасности — её надо соблюдать. Сел за рычаги и отогнал тракторы в сторону. «Ротозейство элементарное, а после слухи всякие поползут...» — думал он, довольный своей предусмотрительностью.

После этого зашёл в церковь и сразу же наткнулся на Федю Пешехода. Тот безмятежно спал у стены. Под головой — мешок с верёвочными лямками, а под рукой — балалайка. Во сне перебирал ногами, словно куда-то торопился, боясь опоздать. Ветров растормошил его, поднял и стал выталкивать на улицу. Но Федя заупрямился, упирался и выходить не желал. Моргал заспанными глазами и тыкал указательным пальцем вверх:

— Нельзя уходить! Упадёт она! Падёт и придавит! Всех придавит!

— Давай шевелись! — торопил его Ветров, цепко ухватив за пиджачишко. — Свободен! Руби строевым на оправку!

Вытолкал Федю на крыльцо и дальше, продолжая держать рукой за пиджачишко, дотолкал его до самого переулка. Напоследок дал напутствие:

— Сделай так, чтобы я тебя долго искал. И не вздумай народ баламутить — в КПЗ посажу!

К этому времени один за другим стали подтягиваться шабашники. Ветров оставил Федю и прямым ходом двинулся к Шептуну, сразу же начал отчитывать:

— Вы что, до ноябрьских праздников ковыряться здесь будете?! Знаете, какие слухи по райцентру идут?! Официально, товарищ Шептун, предупреждаю, это — политическое дело. К обеду чтоб всё закончили!

Красивое молодое лицо Ветрова было суровым, как на плакатах в коридоре райкома. Шептун, наученный в своё время долгими допросами, людей с такими лицами опасался. Не боялся, нет, а именно опасался. Слушал и не возражал. Про себя думал: «Сопляк! Показал бы я тебе в другом месте небо с тряпочку!» Вслух же сказал:

— К обеду свернём, не беспокойтесь.

Ветров кивнул, принимая заверение, а Шептун заторопился к трактору.

К церкви снова собирались старухи, снова переговаривались, ахали, охали, ругали начальников и шабашников. Оставленный без надзора, к старухам тут же прибился Федя. Уселся прямо на землю, пристроил на коленях балалайку и добыл из неё плачущий голос.

Но в этот раз Федя играл недолго.

Ветров добежал до магазина, позвонил в райотдел, и скоро на «газике» примчались два милиционера. Растолкали старух, подхватили Федю под тонкие руки, впихнули его вместе с балалайкой в кабину и увезли.

— И вам советую помалкивать! — предупредил Ветров старух. — Развели тут, понимаешь, поминки, как по покойнику! Помалкивать! Ясно?

Старухи испуганно смолкли.

Тракторы взревели разом. В помощь им заскрипела лебёдка, и провисшие тро-

сы стали медленно натягиваться. Скоро они натянулись до упора и затрепетали, будто под ветром. На колокольне родился глухой треск.

Недалеко от тракторов сбились в стайку ребяташки и отчаянно спорили. Один из них, белобрысый, с густой россыпью веснушек на носу, указывал рукой на колокольню и запальчиво кричал:

— Да вон же он, вон, наверху сидит! Белый!

— Где? Где? — перебивали его дружки. — Где твой голубь?!

— Глаза разуйте!

— Да нету его!

Конопатый тянулся на цыпочках, смотрел на колокольню и твердил:

— Вон сидит, белый!

Треск на колокольне нарастал, будто сухую палку ломали через колено. Тросы врезались в дерево, разрывали его, крошили рваные щепки, и они, оторвавшись, долго кружились в воздухе прежде чем упасть на землю. Казалось, что трещит и разламывается вся церковь — до основания.

— Да-вай! Го-о-ни! — размахивал обеими руками Шептун.

Тракторы взревели ещё громче. Треск ослаб, а из основания колокольни вывернулось бревно, повисло, застряв одним концом в пазу, сама колокольня накрепилась, подламываясь у основания, и медленно повалилась вниз, страшно задирая разломленные и расщеплённые концы брёвен, сверкающие желтизной. Всё разом встало как бы с ног на голову и с тяжким утробным ахом грохнулось в землю. Земля вздрогнула. Чёрный гриб пыли вздыбился под самое небо.

— Летит! Летит! — отчаянно закричал конопатый мальчишка. — Летит!

Но дружки его ничего не видели и верить ему не хотели. А мальчишка не обманывал, он говорил правду, потому что действительно видел: из самой середины пыльного гриба взмыл голубь. Он быстро-быстро взмахивал крыльями и отвесно белой тающей точкой уходил в небо. Оставался за ним ровный чистый след, будто одинокая капля дождя скатилась по грязному стеклу. Но вот она исчезла, а пыль медленно стала оседать на грудь переломанного дерева.

Больше смотреть было нечего.

Пошабашили.

За церковь щетинилось скобоченными крестами старое кладбище, затянутое высокой крапивой и белесыми метёлками приторно пахнущей полыни. Здесь, прячась в бурьяне от начальства и жён, частенько собирались мужики, чтобы выпить. Между могильными холмиками валялись разбитые бутылки, испорченные консервные банки, принесённые и забытые стаканы, и на всём лежала цепкая пыль, не смываемая даже дождями. Тут же, между могил, бродили беспризорные телята. Один из них нечаянно наткнулся на шабашников, подпрыгнул, вскидывая задние ноги, мекнул и бросился в сторону, торчком поставив пёстрый хвост.

— Эх, свеженинки бы! Колька, лови, жаркое сделаем! — Шептун сунул два пальца в рот, пронзительно свистнул, и телок, ещё раз взбрыкнув, надал ходу, скрылся за высокими тополями.

Колька на крик и свист Шептуна не отозвался. Сидел, спиной привалившись к старому кресту и, казалось, дремал. Его худые жилистые руки, безвольно лежавшие на коленях, чуть заметно вздрагивали. Остальные мужики тоже помалкивали, неторопливо закусывая и покуривая. Не было у них радости, какая бывает обычно после удачно сделанной и денежной работы. Не ладился разговор, не вспыхивало весёлое настроение. Шептун пытался расшевелить, ободрить мужиков, но не

получалось. Уж Колька, на что оторва, и тот припух. Неужели испугались, что колокольню свернули? «Сидят, как дерьма наелись...» — подумал Шептун и командовал:

— Наливай, Афоня!

Афоня потянул руку к бутылке, но тут же отдернул её, словно обжёгся, вскинул глаза и растерянно, с перерывом, выговорил:

— Ты... откуда?

Прямо перед шабашниками стоял столбиком конопатый мальчишка, неизвестно откуда явившийся, до того тихо, что никто и не слышал. Поддёргивал на животе сатиновые шаровары и швыркал разбухшим носом, под которым запеклась кровь.

— Здорово, земляк! — Шептун с прищуром глядел на мальчишку. — Откуда свалился? С неба? А нос кто расквасил?

— Я от церкви пришёл, а нос... с нашими подрался. Дяденьки, вы голубя на церкви видели? Белого... Я своими глазами видел, а мне никто не верит, вот и подрались...

— Какой голубь? — быстро переспросил Колька, разом встряхиваясь от дремоты, отлепился от креста и даже на ноги поднялся.

— Ну, белый! — досадуя на непонятливость, заторопился мальчишка. — Он на самом верху сидел, а когда брёвна упали — полетел.

— М-м-м... — Шептун потёр щёку, и на скулах у него каменно выступили желваки. — То звон, то голуби... Вы что, мужики, белены натрескались? И ты, мелкий, туда же! Значит, так, больше про это ни слова! Услышу — сам пасть запечатаю! — Сжал сухой костистый кулак, ткнул им перед собой в пространство и сразу разжал. — Никиту по радио слушайте, он обещал последнего попа показать, специально для вас покажет. Не было никакого звона, и голубя не было! Понятно? И ты, парень, забудь! Конфет хочешь? Тебя как зовут? Да ты садись ближе. Как, говоришь, зовут?

— Алексеем меня зовут, Богатырёв я.

— Погоди, погоди... — вмешался в разговор Афоня, — это... это твою мамку на ДОКе...

— Ну, — понурился мальчишка, — бревно упало и убило. А у папки осколок военный, он его в город вырезать поехал. Мы теперь с бабой Настей живём... Я-то старший, а Серёга с Надькой мелюзга совсем...

— Безотцовщина, значит, — Шептун потёр щёку, помолчал и спросил: — Водку-то пьёшь, Алексей?

— Не, раз попробовал, блевал, блевал — не хочу.

— Значит, и наливать тебе не будем, конфеты жуй, Галька-продащица, как знала, что ты придёшь, на сдачу всучила. Жуй, весь кулёк себе забирай. Афоня, уснул?

Афоня спохватился и набухал полные стаканы. Колька первым схватил долю, остальные, не отставая от него, пили так же торопливо и жадно, как в последний раз. Все, кроме Шептуна, быстро хмелели. Алёшке сунули кулёк из серой пористой бумаги, в котором конфеты-подушечки слиплись в один комок, он их отрывал кусочками, жевал и не чувствовал во рту сладости. Думал: «Неужели они голубя не видели? Наверно, видели, только говорить не хотят. Может, бояться? А кого им бояться? Вон какие большие... Еще раз спросить?» Но спросить не насмеливался и продолжал сидеть возле шабашников, слушая их пьяные разговоры.

— Война скоро будет! К тому всё идёт! — перекрикивая остальных, надсажался Афоня. Переродился он прямо на глазах: шумел, размахивал руками, во взгляде его, всегда растерянном и виноватом, засветился злой огонёк. — Американцы, как пить дать, полезут! Вот и война!

— Тебе, Афоня, с бабой спать надоело? — поддел его Шептун. — Желаете в винтовкой в обнимку спать?

— Всё равно начнётся! — Афоня поднялся на ноги, его мотнуло, и он уцепился за крест, под которым сидел Колька. — Начнётся — я первым пойду! Пойду! Я наводчиком, на фронте... Слышите? Сто пятый истребительно-противотанковый полк! Я на прямую наводку выскакивал! Я — Афанасий Бородин! Командир полка лично награждал! Я на фронте человеком был! Я Афанасием Бородиным был! А здесь — Афоня... Война случится — пойду! И опять Афанасием Бородиным стану. Я от природы наводчик!

— Да сядь ты, наводчик! Если охота — иди, воюй! Кто держит?! Не навоевался он... Да сядь ты! — Шептун ухватил Афоню за штанину, усадил на землю, но тот вскочил, дёрнул воротник рубахи, с такой силой дернул, что посыпались разнокалиберные пуговицы, и неожиданно запел сразу окрепшим и ничуть не пьяным голосом:

*Артиллеристы! Сталин дал приказ!
Вперёд, вперёд зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей,
За слёзы наших матерей,
Огонь! Огонь! Огонь!*

— Огонь! — кричал Афоня и притопывал ногами, будто ему жгло пятки. — По танкам противника! Бронебойным! Огонь!

Его опять сдёрнули на землю, сунули стакан с водкой — лишь бы умолк.

— Мужики, на фронт хочу, я там человеком был... — Афоня затряс головой, расплескал водку себе на колени, и лицо его, с жёсткой, давно не бритой щетиной, кривилось как от сильной боли.

Колька сдёрнул с себя пиджак, свернул и положил в изголовье могильного холмика. Афоню повалили головой на пиджак, удобней выпрямили ему ноги, и он сразу уснул.

Спать никто и не заметил, что на Первомайское напозла громадная туча в фиолетово-белесых завивах. Подсвеченная снизу закатным солнцем, она громоздилась до самой верхушки небесного купола и не оставляла светлых зазоров. Тёмная, будто по линейке отчёркнутая полоса также стремительно, как и туча, покатила по земле, стирая солнечный луч. Докатила до шабашников, замерла на миг перед старым крестом и устремилась дальше. Лица мужиков, накрытые тенью, сразу стали старей и пьянее, чем были на самом деле. Алёшка заметил эту скорую перемену и остро, до неизвестной раньше боли, пожалел их всех. Ему захотелось сказать им что-нибудь ласковое, утешительное, но он не знал, что. И просто жалел. Афоню, спящего на могильном холмике, Кольку, который разглядывал ободранные носки сапог, угрюмо замолчавшего Шептуна, Антона Бахарева, который тянул, закрыв глаза, тоскливую песню без слов, — всех жалел, кто сидел сейчас между могил на старом кладбище. Шептун перехватил взгляд Алёшки, изломал тонкие губы в усмешке:

— Что, парень, невесело?

Алёшка вопроса не понял и пожал плечами.

— Мужики! Колокольни-то нет! — ошалело вскинулся Колька. — Нет колокольни! Гляжу, гляжу — чего не хватает? Её не хватает! Пацанами в бору заблудимся, рраз на сосну, вон она — колокольня. И подались к деревне. Всегда выручала...

— Заткнись! — не поднимаясь, Шептун ухватил Кольку за плечо и так тряхнул, что голова у того болтанулась из стороны в сторону, как тряпичная. — Сказал же, хватит! Всё! По домам разбегаемся! Дождь вон...

Антон Бахарев словно этих слов и ждал. Поднялся, подумал, буркнул: «Хреново» и зашагал, широко раскидывая крепкие литые ноги.

Оставались ещё Шептун, Колька и Афоня, спавший у могильного холмика. Алёшка тоже не уходил. Он всё надеялся дожждаться ответа на свой вопрос о голубе. После липких, приторно-сладких конфет его подташнивало, хотелось пить, но он терпел.

Шептун и Колька растормошили Афоню, закинули его руки себе на плечи и потащили, покачиваясь и спотыкаясь на каждом шагу. Носки афониных сапог бороздили по пыльному чертополоху и оставляли за собой две примятых извилистых полосы. Алёшка брёл следом, старался не наступать на эти полосы, и ему по-прежнему было жаль мужиков, а ещё он жалел каких-то других людей, далёких от него и неизвестных ему. Совсем близко, на подступе, стояли слёзы.

Первые капли дождя шлёпнулись на листья лопухов, и на старом кладбище стал вырывать прерывистый шорох. Телята разбежались, ни одной живой души вокруг не маячило, только шаршились три мужика да брёл за ними, не отставая, мальчишка.

Церковь без колокольни присела, стала похожа на большой и заброшенный сарай, будто расплющилась. Груда переломанных, покореженных досок всё ещё ощутимо пахла многолетней пылью. На крайнем, далеко отлетевшем бревне сидел Федя Пешеход, полой пиджака прикрывал балалайку и молча, не шевелясь, смотрел на мужиков. Шептун заметил его, дёрнулся и потащил Афоню, а вместе с ним и Кольку, как трактор. Федя проводил их долгим взглядом, сдвинулся с насиженного места и направился в церковь. В милиции ему строго-настрого запретили здесь появляться, но Федя, согласно кивнув головой, сразу же и забыл суровый наказ, и шёл теперь туда, где ему хотелось быть.

Афоня жил на самой окраине Первомайского. Пришлось долго петлять по кривым переулкам, пока не выбрались к старому домику с прогнувшейся крышей. Навстречу выскочила худая простоволосая баба. Ноги у неё бугрились синими шишками взбухших вен, а на ногах были глубокие резиновые калоши. Не останавливаясь, баба на ходу скинула одну из них, цепко ухватила в правую руку и, не успели мужики моргнуть, как калоша загуляла по афониной голове. Отскакивали от подошвы засохшие комки грязи и коровьего помёта, Афоня что-то испуганно бормотал, а баба молчала и продолжала лупить своего мужа, плотно поджав блестящие, выцветшие губы.

— Ша! — первым опомнился Шептун и выбил ребром ладони калошу. — Размахалась, курица!

Баба задохнулась, сжимая и разжимая пальцы, в которых только что была калоша, поняла, что больше ей бить Афоню не позволят, и тогда плюнула ему в лицо. Крутнулась, и только подол старой юбки мелькнул в дверном проёме. Дверь хлопнула, звякнул изнутри крючок.

Стучаться, чтобы завести Афоню в дом, не стали, понятно было, что сердитая

баба не отзовется и дверь не откроет. Завели Афоню в летнюю кухню, сколоченную из неоскуренного горбыля, усадили на лавку, подолом рубахи вытерли лицо. Он сидел, прислонившись к неровной стене, закрыв глаза, и казалось, что спит. Но, нет. Поднял голову, испытующе взглянул на Шептуна и заговорил не пьяным, а совершенно трезвым голосом:

— Она не потому, что я загулял. Она молится. С войны ещё, когда девкой меня ждала. А я вот... Нам что, Шептун, жрать нечего? Калымить можно и в другом месте. Деньги, это так, ширмочка... Нам другое требуется. Мы своё зло на ей, на церкви, срывали... Жистянка не задалась, вот и тешились, надо же кому-то счёт предъявить. А она, безответная, в суд не потащит... Скажешь, раньше, до нас, стали рушить... Но то не считается, то — другие, а мы...

Шептун молчал, поставив на колени сухие сжатые кулаки. Ожидалось, что он властно прикрикнет, заставит замолчать, но он даже не шелохнулся, лишь кулаки на коленях подрагивали. Колька курил, надсадно кашлял, колесом выгибая худую спину, и старался не смотреть на парнишку. Всякий раз, когда он взглядывал на него, начинал чудиться белый голубь и возвращался страх, пережитый на колокольне.

По крыше летней кухни с шелестом выстилался упругий обложной дождь. Лампочка под потолком светила вполнакала, готовая вот-вот потухнуть, и лица мужиков были темны, как и в тот момент, когда густая тень стёрла солнечный свет на кладбище.

— Я пойду, — сказал Алешка, — пойду, а то баба Настя ругаться будет.

Мужики на его голос не отозвались, и он вышел под дождь. Прикрыл за собой легонькую фанерную дверку, на ощупь нашёл калитку и побрёл по переулку, ничего не различая в темноте. Но скоро глаза обвыклись, стали различимы дома, штaketники и старые высокие тополя, густую листву которых дождь пробивал слабо, и там было почти сухо.

«Не захотели они правду сказать, видели голубя, а не говорят... Они... — Алёшка замер, поражённый своей догадкой. — Они боятся сказать, что видели... Почему боятся? Жалко мне их...»

Сзади затопали быстрые шаги, Алёшка обернулся, и его тут же схватили за плечи твёрдые руки.

— Стой, парень. Сказать хочу, если голубя видел, значит, он был. Значит, так надо. Мне уже не увидеть. Не обижайся на нас, парень, слышишь?

Если бы не голос — лицо в темноте едва маячило, — Алёшка и не поверил бы, что его догнал Шептун. Но это был именно он. Мокрый и жёсткий, будто свитый из твёрдых веревок, он прижал Алёшку к себе, наклонился над ним и ещё раз спросил:

— Ты меня, парень, слышишь?

— Слышу, — отозвался Алешка. — Я и не обижаюсь, мне жалко...

В груди у Шептуна булькнуло, он ещё крепче притиснул к себе Алёшку, наклонился к нему совсем близко:

— Не обижайся, парень...

Оттолкнул его от себя и исчез в темноте.

Алёшка постоял, прислушиваясь к затухающим шагам, передёрнул продрогшими плечами и быстро пошёл, почти побежал в обратную сторону — к дому, пытаясь на ходу согреться.